

**В** двадцати километрах от Рубцовска, у берега Алея, находится село Захарово. На въезде металлическая стела в виде пшеничного колоска с годом основания — 1781. Съезжаем с трассы, по правую сторону — витиеватая белая лента зимнего Алея, за ним темнеет пойменный разномастный лесок — забóка. В центре села «Магазин смешанных товаров» из белого кирпича в «шубе», рядом клуб. Ближайшая школа находится в соседнем крупном селе — Безрукавке. Люди в Захарове живут домашним хозяйством или ездят на заработки в Рубцовск. Село глухое. Большинство жителей — пенсионеры, старожилы.

Морозный тогда выдался январь, на градуснике больше тридцати. Я водил видеокамерой, снимая из салона отцовской «Нивы» заснеженные сельские окрестности, не понимая тогда, что главным в моем любительском фильме окажется не изображение — слово. Но и то, что я видел глазами — очаровывало: и тихая, ведущая свою потайную жизнь, скрытая льдом река,

и тревожная глушь заботы, чернеющая по сторонам, и ощутимая в самом воздухе древняя история этих мест.

Ехали мы в Захарово навестить тетю моего отца, бабу Таню Александрову, долгожительницу, тогда ей было за девяносто. Всего она прожила в родном селе девяносто шесть лет. Я хотел узнать о своих корнях, составить генеалогическое древо, вывести как можно больше старинных песен и, если получится, снять небольшой документальный фильм. Поняв мой интерес, отец сказал, что в селе живет еще одна баба Таня, долгожительница, которая «интересно рассказывает», и с ней тоже можно устроить встречу. Обе встречи состоялись в один день.

То, что получилось, едва ли можно назвать интервью, скорее — монологи о жизни. Бабушки с предсказуемым недоверием реагировали на камеру, но потом как-то забыли про нее. Взгляд становился отрешеннее, речь тверже. Удивительным образом вспоминалось то, что, казалось, давно забыто: стихи на французском, выученные когда-то в школе, молитвы, советские и досоветские песни... К сожалению, не всё удалось поместить в текст.

Две Татьяны. Две жизни. Одна глубоко верующая с детства, другая убежденная атеистка. Одна сдержанна в словах, другая многоречива. Одна одарена музыкально, другая лишена слуха и шутит, что не дано. Одна прожила Великую Отечественную войну в оккупации и видела все ужасы ее своими глазами, другая — в не менее тяжелом тылу. Разные бабушки, обе замечательные рассказчицы, через живую речь раскрываются их характеры, симпатии и антипатии, особенное чувство юмора. Редкое сегодня умение — устным словом владеть так, что оказываешься на много десятилетий назад и будто видишь всё своими глазами.

*Татьяна Ивановна Александрова (1921—2017), с. Захарово.*

*Бревенчатая изба с русской печкой. На полу домотканые половики. Тепло, чисто, пахнет ржаным хлебом. Рядом с хозяйкой уютился черный внимательный кот. В главной комнате «красный угол»: икона Спаса, прошлогодние вербочки, лампадки. По стенам развешаны выцветшие от времени портреты родственников. Старинные часы мерно отстукивают секунды в тишине.*

Чёт плохо стало мне. Ешо хоть бы слышала бы хорошо, а то и плохо слышу, и плохо вижу. И руки как грабли, как крюки. И ноги не ходят. Кое-как хожу с бодожком... То газету мне принесут (*смеётся*). Газет уже не читаю, а выписать выписала. А так — заголовки когда прочитаю, и всё.

Ну ничё, не голодуем. Пенсию дают, хлебушку покупаем. И так всё привозют мне. И молока привозют, в пакетах (*смеётся*).

*Вспоминает, какое прежде было село.* Большое... Низовка там была, колхоз был имени Чапаева. А туда дальше, за бугор, там — колхоз имени Громова. А наш колхоз был тута. Колхоз «Красный Алтай» назывался. И вот и пели мы песни: «Колхоз «Красный Алтай» — хорошее звание, вызывали «Громова» на соцсоревнование». Или: «Советская власть, советское правительство, они строят эропланы, строят электричество».

*На кухонном столе под стеклом вырезки из газет: фотографии лошадей и местных чиновников.* Это я вырезала лошадей, всегда любила. Ну и людей тоже, которые... Там один Ахфанасьев, он это, районный президент.

...Комбайнером была. На пашне жили. Чё-нибудь в лобогрейке там дергач порвался... Снимаешь с лобогрейки, верхом на коня садишься — и в деревню, в кузницу, сваривать этот дергач. А с деревни опять верхом.

А один раз как они (*кони*) меня взялись трепать. Я боронила-боронила, землю боронила. Желёзны бороны. Ну, на обед поехала и чё-то бороны не оставила. Они как взялись меня трепать, о-о. Ой, думаю, щас упаду и под бороны. Нет, ничё, Бог миловал, не упала. И до самой бригады, споря, они меня несли. Внамáх несли, трепали. А конюхá смотрют... Кони до бригады добежали и тут уже остановились. Ох, а конюхá дивуются: да как же ты не упала. И сижу, не упала.

Бывало, пошлют, где пасутся кони — привести домой. Пойдешь, они там пúтаны пасутся. Наденешь уздечку, распутаешь, уведешь домой. А один раз... Тут недалёко кони были. Чё-то меня послали: то ли напоить, то ли не знаю чё. А я... Надо было пёрво уздечку одеть и держать, а потом распутать. Я распутала, а он и побежал. И побежал, и побежал, и за реку — через мост, а я за им. Аж под пашни, далеко-далеко, аж под Катково — вниз.

Остановился, стал пасться. Запáсья. Потом я подошла да уздечку одела, да привела.

Да всего пережила, всё насветушки. Ну тогда всё в коммуны загоняли. А потом артели стали. И поступили в артель, так и стали жить в артели. Стали зарабатывать, пайки давали. Так жили на пайках. Где без хлеба, где чё. Всяко пережили.

Чё-то то сеяли, пахали. А щас — то ли не сеют, то ли не пашут. Я не знаю. Как-то хлеб где-то берут. Да главно, печеный, да мало, что печеный, еще и порезанный на ломтики (*смеется*). Готовый.

*О войне.* Слушаешь, то там рёв-кричат. Чё такое? Да похоронка пришла. То там крик-шум, плачут. Чё? Да похоронка пришла. Господи-господи... Не дай Бог войны. Хоть бы никогда больше не бывало ее. И в тылу было плохо, тяжело. Мужчин не было. Всё дети работали да женщины, да девчата. А мужчин не было. Тяжело было без мужчин. От эти трактора на девчат, комбайны, всё на девчат. А мужчин не было.

Я один год была штурвальным у одного парня. Вызвали его в военкомат — забрали, а я осталась одна на комбайне. А потом на комбайнёра учить послали. А здесь (*в Рубцовске*) техникúm был забитый ранеными. А его у Мамонтовский район — техникúm — отправили. Туды отвезли, отвезли меня туды, отвезли, а оттэда пешком и шла. Была зима, ночевать просилась. До деревни до какой дойдешь — уже вечер. Просишься ночевать. Пускали люди ночевать. А потом и я — когда кто просится ночевать — пушала. Всё думаю: меня же пускали люди. Кто, може, этого не испытал, дак и просится ночевать человек — не пустит. А я испытала, дак я пускала ночевать.

...Верили мы в Бога. Я и щас верю. Как Богу молюся на ночь, всегда эту молитву читаю: «Огради меня, Господи, силою честною животворящего Твоего креста. Сохрани меня, Господи, ото всякого зла». А спать когда ложусь, постель перекрещиваю: «Ложуся спать в преподобных местах, ангели по боках, Дева Мария в головах. Крещусь крестом, Божья матушка спасет до света, а Иисус Христос до века». Постель свою перекрещиваю...

Захватили немцы, и мы у немцев были, в сорок третьем году нас только освободили. Мы были как в плену, они нами владели. Мы там дороги чистили, кухня приезжала, итальянцы привозили нам в поле обед. Хлеба ни кусочка, а суп только вот с лягушек. Лягушки, кусочками порезанные, но они вкусные, как и рыба.

Там ужас был, там, знаете, не выскажешь, что там было. Когда зашли эти немцы, сразу бомбили. Первым долгом бомбили самолеты. Так опустятся, так завоюют... На сеть путей проложенных, на эту железную дорогу. Бомбы попали на жилье на наше. И упала бомба, ну примерно метр от угла, в доме. Здесь дедушкины святые иконы стоят... То ли что там иконы были, бомба не взорвалась. Воткнулася по крылья, и она была там пять лет, ее проволокой обтянули. Окошки все выставили, всё, что у нас было в комнате, всё выбросили: швейную машинку, даже мою гитару – и ту выкинули в окошко. И кровать, и всё-всё... Оставили только ведра пустые, вот. И загнали туда два пулемета: в одно окошко и в другое. Там же наши, русские, а здесь немцы. И вот они туда и сюда направили. И у этих перестрелка, а мы на улице: я, мама, мальчик, четыре годика, дедушка и бабушка. Куда деваться? В погреб. Один итальянец, — ну, наверно, не все добрые, эти добрые, — говорит: матка в погреб, бомба никс. Мы, значит, в погреб все позалезли, там картошка только и огурцы.

Когда шахта опустилась, появилась канава, такая длинная, километров шесть. И по этой канаве все бежали. Как только небо осветит, мы падаем, чтоб нас не заметили там. Как только загаснет, мы обратно по канаве. Там была деревня Осыково, находилась ниже. Мы думали, что если там ниже, то нас не захватят. Тетя там осталась, а мы тут в погребе. Тетя с мальчиком, четыре годика мальчику, там осталась беременная. И у нее только одеялко было, больше ничего. Мы-то у немцев, и она осталась тоже у немцев, то есть надо попасть сюда, к родителям своим. Она, значит, стала переходить, а там заминировано всё. И немец ей сказал «никс», дескать, заминировано. Она плачет, у меня вот ребенок, и мне срок подходит. И он ее промеж этих мин провел, и она пришла, спустилася к нам в погреб. Спустилася в погреб и родила две девочки.

А там у нас (в погребѣ) закатать нечем. Мы посняли с себя рубахи, что на нас, дедушка тоже рубаху снял, кто чѣ, кто юбку, и завертали. Открыл погреб, значит, сперва немец. Они нам сказали, что, мол, «матка перина». Перину пуля не пробивает. Ну, мы перину-то натянули и тетка родила двоих там, завернуть нечем. Немец открывает ляду-то (ляда — откидная крышка), автомат вот так вот, ну мы всё... Мы неживые, уже, считай, неживые. А он поглядел-поглядел и говорит: киндер капут. И закрыл. Прошло, наверно, часа два, открывает итальянец. Открыл и бросил парашют. Дескать, завертáть маленьких. А чѣ парашют, он какой большой, шёлковый, а у нас нет ничего, его ни зубами не порвешь, ничем. И мы в этот парашют, то с этой кромки, то с другой кромки завернули детей... И вот там мы просидели двадцать четыре дня. Ели картошку сырую, огурцы.

Ночью перестрелка маленькая, редко стреляют. И вот дедушка вылезет, от лошади от убитой отрежет кусок, и вот мы то и мусолили. Пока нас не освободили.

Почему-то когда немцы уходили, итальянцы оставались. Голодно. А тут ребятишки натаскали яблók. Колхозный какой-то сад, и на крышу натаскали. А итальянец залез туда и этих яблók наелся и там оправился. А мама, свекровка, полезла туда, ребятишкам хоть компоту сварить, смотрит, а там такая неприятность. Она слезла и пошла к старшему итальянцу... А тот солдат ремень-то забыл (смеется). Она пошла с ремнем туда. И говорит старшему: ваш комрад, товарищ, что ли, или кто у них там... нагадил, говорит, а мне детей кормить нечем. И главный штрафную солдату дал, по этому ремню определил, кто это был. Потом тот итальянец отбыл пять суток и приходит, говорит: матка не хорош (смеется). Вот так они у нас пробыли: немцы и итальянцы.

...Мы проснулись, встали, а немцев нету. Тихо, тихо стало, прям нигде никого. Ну чѣ, мы встали, а тут немцы побитые лежат. Ну, мы их не подбирали, а ихние, пленные, их и подбирали. А наших подбирали местные, кто жил, и молодые, и старые, все-все. Сколько времени прошло, и всё равно, то там где-то в кусту, то в окопе присыпанный лежит.

Потом распределяли, кого в трудармию, кого куда. Я попала в прифронтовой госпиталь. Станция Чертково, Ростовская

область. Госпиталем была трехэтажная школа разбитая. И вот я там работала. Наше дело что: покормить больных, написать кому-то письмо. Если с фронта ранетых привезли, наше дело сгрузить, по палатам распределить. Там вот я и работала. А потом... Фронт ведь на месте не стоит, и госпиталь на месте не стоит, госпиталь уезжает. И легко ранетых мы грузили в вагоны, и их сюда, в Рубцовку, привозили. А которые тяжело ранетые, их по медчашкам распределяли.

А потом, уже когда фронт ушел дальше, ранетых мы всех вывезли, и тогда мы пошли в военкомат с подружкой в Белово. Она 1924 года рождения, я 1926-го. Пошли мы добровольно. Военком говорит подруге: ну как, на кого ты пойдешь? Она говорит — на связиста. Он ее принял. А меня не принял. А я, говорю, не уйду до тех пор, пока вы меня не определите. Куда я пойду? У меня теперь никого нету. А он говорит: для вас найдется и здесь место. И вот нас всех таких, которые в госпитале работали, нас отправили подбирать ранетых и битых. И вот мы, кто на железке, кто на тележке, кто вот так вот (*показывает*) руки сложим, получается как сиденье. Подходим к ранетому, он на карачки встанет, мы его под жопу — и тащим его в госпиталь. А в госпитале уже перевязку делают ему. А которые битые, мы их везем... Кто, значит, лесину спилит, на лесину ложут и тянут. А у кого санки, а у кого корыто. И везем в братскую могилу. Сейчас эта братская могила в Ростовской области, станция Чертково, прямо у вокзала. Если танк подбитый, сожженный, то, значит, мы в военкомат сдаем номер танка и данные погибшего солдата. Там специально у каждого в брюках, в поясе, такой карманчик и в нем патрончик с именем.

После войны с итальянских шинелей пошили мне пальто, так и замуж вышла в «итальянском» пальто (*смеется*). В 1946 году я замуж вышла, сразу после войны. Как-то судьба так свела, в госпитале мы с ним (*мужем*) познакомились. Он был ранетый в правую ногу, с автомата очередью два вылета. И когда я работала в госпитале, его привезли. Что-то он нашел во мне хорошего, понравилась, наверно, я ему. Но там я не одна была, там нас много было, как китайская школа. И вот он всё — то поправь ему голову, то ногу так положи, то водички подай. И всё он не

кого-нибудь, а именно меня зовет. А потом я пришла на дежурство... Мы были там в чём: на нас халаты были белые, косынки белые и красный крестик на лбу и на рукаве. Там не до нарядов было. Потом двинулся госпиталь, увезли ранетых. Я прихожу на смену, а девчонки: н-у-у, Таня, увезли твоего жениха. Я говорю, ну чё, увезли так увезли. Он, говорю, выздоровеет да приедет за мной.

И вот так нету и нету, увезли, и ладно. А потом, после войны, дядя сказал: я поговорю с начальником станции, чтоб тебя приняли в депо. Хоть по годам я и не прохожу, но, как знать, вдруг немцы вернутся, заберут. Чтобы на меня наложить бронь. И оформили меня грузчиком, уголь сгружать. И вот пригонят вагоны, их разгружали мужики, которые выздоровели после ранений или непригодные для фронта. Но он есть мужик. Там он ломиком как-то швыркнет, подденет, люк откроется, и уголь бежит. А меня ставят на площадку, потому что я не могу открыть. И вот я площадку с углем должна к вечеру освободить. Площадку, где двадцать пять тонн. Но сгружать хорошо. Вот стоит вагон, борта отброшу, залажу, а там пол железный и лопаткой так хорошо — и двинешь, и двинешь... До обеда я половину должна сбросить. После обеда, значит, маневровочный прицепляют, стрелки перекидывают, он объезжает — другая сторона подходит. И эту сторону... Вот так я там сгружала.

Потом, там не без добрых людей, видно у кого-то свои такие же дети, пожалели меня и послали в пескосушилку. Там печи такие, сушить песок. Там проработала я два года, а потом к весне это оборотное депо станции Чертково закупило землю в какой-то деревне. И там они сеяли просо, кукурузу и дыни, и картошку, всё-всё. Для рабочих депо. И послали меня туда поваром. И я там стала варить трактористам и рабочим.

А там казаки живут, у них не деревня, а хутор. Депо сняло там помещение для кухни, в доме. Тут кухня, а там хозяйка живут. Заходит, значит, какой-то солдатик в шинели, поздоровался и пошел, значит, туда, к тому хозяину. Часы ему ремонтировал. Маленько они там поговорили, он вернулся назад. Ну, я так глянула в окошко, думаю, хорошенький (*смеется*). Потом прошло, наверно, часа три или четыре. Заходит парень, такой высокий,



красивый, чернявый. В галифе, майке и тапках. Поздоровкался и говорит: «Вы Таня?» Я говорю: «Я». — «Да брátка вам записку передал». Я взяла, думаю, откуда записка, какая записка. А тот: «Он сказал, чтобы вы ответ написали». Я говорю: «Ну ладно». Я, говорю, писать не буду... А я прочитала ее, поняла, что это он. Я, говорю, писать не буду, а скажи ему, что если, говорю, ему нужна, то пусть придет. Он говорит: «Ну ладно». И пошел. Потом вечером выхожу, а там мой Николай.

Ну, мы и вспомнили друг за дружку. В госпитале не до любви было. Неужели бы мы там стояли и влюблялись, когда человек рядом лежит и кричит криком или ползает под ногами, уже некуда положить, а он без глаз. А мы бы там любовались... Ну так вот мы подружились с Николаем, как началась посевная. А поженились в уборочную.